

Литературное обозрѣніе

Иностранцы о М. Горькомъ.

За послѣднее время иностранные писатели отмѣчаютъ каждое выдающееся явленіе въ русской литературѣ.

Естественно потому, что произведенія М. Горькаго служили и служатъ темой для заграничныхъ критиковъ, рассматривающихъ нашего талантливаго писателя, какъ новатора въ литературѣ русской, а можетъ быть, и во всемирной.

Нѣсколько неблагоприятныхъ отзывовъ, напр., американской печати показали только, что заатлантические писатели совсѣмъ не поняли М. Горькаго и не знакомы со всѣми условіями русской жизни, которыя несомнѣнно его вызвали.

Самого босняка (разумѣю „босняка Горькаго“) американцы считаютъ просто за жулика, за парію, за представителя подонковъ общества, вреднаго самымъ своимъ существованіемъ въ цивилизованномъ обществѣ и достойномъ электрокуціи или суда Линча.

Конечно такого жулика, большею частью дегенерата и алькоголика, явившагося въ Америку, какъ отбросъ Европы вмѣстѣ съ переселенцами, воспѣвать было бы весьма странно.

Но нашъ босякъ явился на почвѣ совершенно своеобразныхъ условій и, во всякомъ случаѣ есть явленіе чисто русское, по крайней мѣрѣ, въ той формѣ, какъ мы его наблюдаемъ на нашей родинѣ.

Это съ точки зрѣнія общественной.

Что касается стороны философской, въ которой, по крайней мѣрѣ, для русскаго общества Горькій дѣйствительно является новаторомъ то при слѣшкомъ практическомъ складѣ ума янки едва ли могутъ подняться до болѣе широкаго полета мысли поверхъ чисто практическихъ

къ духовной свободѣ и мощи является въ значительной степени по тому, что окружающее менѣе всего способствуетъ представленію объ этой мощи, и менѣе всего эта мощь имѣетъ у насъ приложение.

Американцы же свои духовныя силы затрачиваютъ въ колоссальныхъ размѣрахъ на достиженіе личнаго матеріальнаго счастья при условіи весьма ожесточенной борьбы за существованіе и грозной конкуренціи.

Для нихъ тихая проповѣдь любви является смягчающимъ началомъ слѣшкомъ грубаго и рѣзко выраженаго буржуазнаго эгоизма и индивидуальной обособленности.

Въ сборникѣ „Литературное Дѣло“ г. З. К. собраны отзывы о Горькомъ иностранныхъ критиковъ. Не имѣя подъ руками этого изданія, я могу сказать о нихъ лишь нѣсколько словъ, такъ какъ мнѣ съ большою, конечно, осмотрительностью приходится пользоваться „Литературнымъ Обозрѣніемъ“ Н. Скифа въ № 7 „Русс. Вѣстника“.

Г. Н. Скифъ, конечно, старается выбрать лишь то, что можетъ такъ или иначе унизить значеніе нашего писателя, что составляетъ между прочимъ, задачу обновленнаго журнала.

Между прочимъ, литературный обозрѣватель „Р. В.“ находитъ, что г. З. К. подобралъ только русскихъ иностранцевъ, напр., Иванъ Странникъ, Савичъ, иностранка В. Старкова, Порицкій, Полонскій, Ф. П. — конечно, это вѣроятно, русскіе, пишущіе за границей и на иностранныхъ языкахъ, но нельзя понять при чемъ здѣсь литературный сыскъ, разъ произведенія появились за границей.

Однако, г. Н. Скифъ не можетъ скрыть, что литературѣ М. Горькаго, какъ выдающейся и достойной художественной критики, посвящены статьи и настоящихъ иностранцевъ: Вогюэ, Георга Брандеса и Диллона.

Изъ послѣднихъ настоящихъ иностранцевъ о Георгѣ Брандесѣ умышленно не говорится ни одного слова, но приводятся цитаты изъ Вогюэ, Диллона и друг.

держки, не упоминая ни слова об иностранцах, заставляющих подозревать по фамилиямъ, что они русскіе.

„Неожиданно, какъ зеленые побѣги быстрой русской весны, прочно установилось имя Максима Горькаго, — говорить Вогюэ, — мѣся, чѣмъ въ три года послѣ появленія его произведеній“.

Герои Горькаго, по сужденію того же писателя, „это демократизированный идеалъ прежняго аристократическаго романтизма, это — Манфредъ и Ролла въ лохмотьяхъ, Онѣгинъ и Печоринъ, „смѣнившіе плащъ Чайльдъ Гарольда на красную рубашку мужика“.

„Романтическій левъ остался такимъ же, какъ былъ, несмотря на всякія литературныя украшенія, „молодымъ животнымъ, эгоистичнымъ, гордымъ и разнузданнымъ“. Это возрожденіе романтизма происходитъ во всей Европѣ: Горькій, д. Аннунціо, Ридьярдъ Киплингъ, Гауптманъ, Сенкевичъ — это все родные братья одного духовнаго отца — Ницше“.

„Духъ Байрона и Клейста, — по мнѣнію dr. Alcalaу, — снова возродился въ Горькомъ. Другая характерная черта Горькаго, кромѣ романтизма, его пессимизмъ. Послѣ Шопенгауэра по мнѣнію критика самый рѣшительный пессимизмъ въ Европѣ — это Горькій: вопросъ „для чего я живу“ постоянно слышится изъ устъ его героевъ. Но этотъ пессимизмъ происходитъ отчасти отъ неясности его мышленія“.

„Черта отличающая его отъ народниковъ, — говорятъ И. Норденъ — это отсутствіе тенденціозности. Заподозрить въ этой послѣдней можетъ его лишь тотъ, кто не знаетъ русской земли и людей, на ней живущихъ, изъ собственнаго опыта, такъ какъ Горькій съ неподдѣльной вѣрностью и правдой изображаетъ лично имъ пережитое и перевѣданное. Онъ натуралистъ durch und durch въ лучшемъ смыслѣ этого слова и все, что рассказываетъ, рассказываетъ просто, безыскусственно, безъ всякихъ прикрасъ и преувеличеній и совершенно чуждъ сантиментальности и романтизму

пасть и чувствуется его собственная личность: то это не удивительно, такъ какъ его личность — очень крупная личность, необыкновенное сочетаніе дѣтской наивности и глубокой жизненной философіи.

„Въ странахъ мало культурныхъ, — говоритъ Карлъ Скапинелли, писатель — это Прометей, приносящій съ неба на землю священныя огонь, социальный реформаторъ даже въ извѣстномъ смыслѣ апостолъ. — Это одинаково приложимо, какъ къ Толстому, такъ и къ Горькому, съ той разницей, что у этого послѣдняго писателя больше поэтичности, наивности и задушевности сравнительно съ первымъ и что его апостолство носитъ иной характеръ“.

Романъ Горькаго „Трое“, — по словамъ Курта Гольма, — „не теряетъ ничего при сравненіи даже съ „Преступленіемъ и Наказаніемъ“ Достоевскаго, уступая ему въ тонкости психологическаго анализа, но превосходя его шире раздвинутымъ изображеніемъ жизни“.

А вотъ сужденія отрицательныя.

Судя по произведеніямъ Горькаго, можно подумать, говоритъ Мельхиоръ де Вогюэ, что „вся Россія не что иное, какъ большой кабакъ, пропахнувшій потомъ, саломъ и керосиномъ, гдѣ появляются оборванные бродяги, которые стонутъ, проклинаютъ, выплевываютъ другъ другу въ лицо свои истины и утопаютъ въ океанѣ водки. Ома Гордѣевъ „не знаетъ, но ищетъ смысла жизни“ и „въ исканіи этого смысла жизни“ пьетъ и пьетъ на протяженіи 300 с. Жадно стремящійся къ истинѣ, но глубоко идеалистичный и очень несвѣдущій, этотъ народъ-ребенокъ быстро возмущается, когда ему открываютъ глаза и показываютъ весь наборъ условной лжи, на которомъ роковымъ образомъ зиждется весь общественный строй, лжи странной, неблагоприятной и жестокой“. И важная болтовня его героевъ о смыслѣ жизни, и не менѣе важныя разсужденія читателей и критики объ этихъ идеяхъ — все это напоминаетъ серьезность маленькихъ дѣтей: они наивно принимаютъ снова за тѣ вопросы, которые человѣчество уже давно разрѣшило, по крайней мѣрѣ, на

кладки геометровъ, которые искали квадратуру круга“.

„Только въ Россіи возможна такая „карьеря“, говорить Диллонъ, какъ карьера Горькаго, потому что ни въ какой другой странѣ кромѣ Россіи, общество не идетъ такъ благосклонно на встрѣчу талантамъ „снизу“ и нигдѣ, такъ широко не открываетъ ему дверей науки или искусства, откладывая вопросъ объ истинныхъ его заслугахъ съ общественной точки зрѣнія до поздняго времени“.

„Двѣ арко очерченныя разновидности этого типа (босаяковъ) выводитъ Горькій въ своихъ произведеніяхъ: первая изъ нихъ — это грубая, порочная натура, опустившаяся до самой глубины того ада, гдѣ уже нѣтъ надежды на искупленіе, большие духомъ и тѣломъ, жертвы несчастія, рабы пьянства и порока, отбросы общества, выкинутые океаномъ жизни на берегъ и гниющие подъ солнцемъ и „дождемъ“. Другіе, нѣсколько выше стоящие, матежные духомъ, не признающіе никакихъ преградъ, считающіе, „подобно сатанѣ когда то, что лучше царствовать въ аду, чѣмъ служить на небесахъ“, управляемые порывами, гонимые ненавистью, стремящіеся не только къ неосуществимому и непознаваемому, но и къ тому, что даже не можетъ стать познаваемымъ, существа, которыя „перебѣгаютъ отъ мысли къ мысли, отъ мѣста къ мѣсту, отъ преступленія къ преступленію“, пока не найдутъ себѣ конца въ самоубійствѣ или въ звѣриной смерти“.

„Типъ этотъ въ Россіи не представляетъ чего-либо новаго. Давно уже въ исторіи (Степка Разинъ) и въ народныхъ преданіяхъ (Васка Буслаевъ) появлялся подобный образъ чело-вѣка со страстною любовью къ свободѣ, съ ненавистью ко всему міру, стоящій по ту сторону добра и зла. Милосердіе, справедливость, чувство долга точно также никогда не числились стимулами его дѣйствій и для него, не размышляющаго и даже неспособнаго на размышленія, точно также одинаковую цѣну имѣлъ и поступокъ высшаго героизма, и ужасное преступленіе“.

Въ чемъ же заключается сущность этого

спрашиваетъ Диллонъ. Жажда свободы, презрѣніе къ самымъ элементарнымъ законамъ морали, отождествленіе силы и права въ лицѣ разнаго рода „сверхъ-бродягъ“, — вотъ чисто отрицательные результаты этого ученія. Подобно двумъ питамъ, проходящимъ почти черезъ всѣ произведенія Горькаго, двѣ системы этики противопоставляются въ нихъ одна другой: христіанство и его отрицаніе. И герои этихъ произведеній, которымъ авторъ старается завоевать симпатіи читателя, надменно попираютъ ногами мораль Галилеянина“.

Вотъ, что я извлекъ изъ „Русс. Вѣстника“, въ свою очередь рассматривающаго статью г. З. К. въ „Литературномъ Дѣлѣ“. Предупреждаю вновь, что подборъ этотъ явно тенденціозный.

Болѣе интереснымъ является переводъ съ англійскаго критическаго очерка графа де-Суассона, иностранное происхожденіе котораго едва ли уже заподозрить и „Р. В.“.

Переводъ этой интересной статьи помѣщенъ въ № 7 „Новаго Вѣстника Иностранной Литературы“.

Огмѣчая выдающійся почти безпримѣрный успѣхъ М. Горькаго, авторъ говоритъ, что онъ произвелъ настоящій переворотъ въ русской литературѣ.

„Еще не такъ давно было время „Kulturkampf“; это былъ періодъ торжествующей и громадной вѣры въ силу знанія и его способности уничтожать все зло жизни. Торжествующая вѣра исчезла, и вмѣсто того, чтобы разсуждать о „матеріи и силѣ“, пытливые умы начали читать „Иродіаду“ и „Искушеніе св. Антонія“. Всѣ силы чувства, все стремленіе къ чистой и честной жизни были направлены Толстымъ къ служенію личному нравственному усовершенствованію.“

И этотъ періодъ миновалъ. Можно смотрѣть на него, какъ на нѣчто прошедшее, и удивляться тому страху, который обуялъ тогда всѣхъ. Страхъ этотъ не позволялъ людямъ учиться, заставлялъ ихъ трепетать предъ своими грѣхами, почти спать въ гробахъ и носить вериги всевозможныхъ мелкихъ обязанностей.

то, чего нельзя даже и опредѣлить.

— Вы трусы!—крикнулъ тогда Горькій и вывелъ на свѣтъ Божій своего бродягу. Мы смотримъ на этого бродягу, онъ правится намъ, мы слушаемъ его, мы удивляемся ему. Въ немъ есть что-то необыкновенное. Онъ какъ будто пришелъ къ намъ изъ какого-то дальняго края, изъ дикихъ пустынь и лѣсовъ, и рассказалъ намъ, какъ тамъ свѣтитъ солнце, какъ тамъ поютъ птицы, какъ человѣкъ тамъ ничего не боится. Конечно, мы должны тщательно остерегаться, какъ бы не выразить слишкомъ большой симпатіи этому бродягѣ, не смотря на всю его плѣнительность, быть хотя бы заподозрѣннымъ въ желаніи самимъ обратиться въ бродягъ было бы очень опасно. И тѣмъ не менѣе, едва ли найдется интеллигентный человѣкъ, который, прочитавъ рассказы Горькаго и поразмысливъ о нихъ серьезно, не скажетъ себѣ, ибо онъ, навѣрное, не скажетъ этого даже лучшему своему другу,—приблизительно слѣдующее: „Да, это правда, что мы надѣли на себя слишкомъ много цѣпей такъ называемой цивилизаціи, мы слишкомъ связаны всевозможными правилами приличія и обычая, и намъ не лишне было бы чувствовать себя немножко вольнѣе“. Въ этомъ нѣтъ ничего особеннаго, но если принять въ соображеніе, какъ жизнь каждаго человѣка окружена сплошной сѣтью всевозможныхъ постановленій, какъ боязнь, ужасная боязнь грознаго завтра, составляетъ эссенцію всего существованія,—съ насъ довольно пока и этой мысли.

— Вы трусы,—сказалъ Горькій и показалъ намъ своего бродягу. Можетъ быть, его бродяга только вымыселъ; можетъ быть, такихъ бродягъ не найдешь ни въ какихъ притонахъ; но это все равно. Развѣ жили когда-нибудь люди,—развѣ живутъ они теперь,—одною дѣйствительностью?

Введеніе въ литературу бродяги напоминаетъ намъ, что не всегда удобно мѣнять чело-
вѣческое достоинство и нѣкоторыя внутреннія отличительныя свойства нашей духовной свободы на доброе мясное блюдо. Безпокойство, отвращеніе и отчаяніе часто являются неиз-

вѣчная и прекрасная литературная тема, часто избираемая писателями“.

„Для Горькаго бродяга это—феноменъ такой великой важности, что онъ даетъ ему въ свои силы, все свое поэтическое вдохновеніе. Онъ видитъ въ немъ не только необходимое и неизбежное, но иногда и прекрасное и мощное. Люди осѣдлые или не интересуютъ его вовсе, или отодвигаются имъ на задній планъ. Въ босякахъ сосредоточивается для него вся русская жизнь, и онъ постоянно возвращается къ своимъ босымъ героямъ, привлекаемый или ихъ причудливой дикостью или глубиной ихъ психологіи. Перо его быстро скользитъ по людямъ почтеннымъ, и даже когда онъ ихъ описываетъ, то изображаетъ не въ особенно привлекательномъ свѣтѣ“.

„Я долженъ остановиться съ особеннымъ вниманіемъ на одномъ изъ отличительныхъ свойствъ Горькаго, его аристократизмъ. Хотя онъ и описываетъ труппы, грязные притоны и зловонныя кабаки, и часто называетъ вещи ихъ настоящими именами, но онъ никогда не возбуждаетъ въ насъ того чувства презрительности, которое производятъ страницы иныхъ натуралистическихъ романовъ. Копоть, грязь, зловоніе—все исчезаетъ въ красотѣ духовной жизни, въ мощи и причудливости жизненныхъ столбцовъ. Мнѣ кажется, что одного этого общаго свойства уже достаточно, чтобы отмѣтить Горькаго какъ писателя очень смѣлаго. У него хватаетъ рѣшимости быть самимъ собою, говорить о томъ, что его интересуетъ, не стараясь угодить на вкусы тѣхъ, кто его окружаетъ, тѣхъ, кто имѣетъ вліяніе. Далѣе Горькій достаточно смѣлъ, чтобы признаться намъ, что онъ любитъ своего бродягу и смотритъ весьма подозрительно на такъ называемыхъ цивилизованныхъ людей, трусовъ, болтающихъ объ общемъ благѣ чело-
вѣчества. Это, конечно, дерзко, но намъ тутъ нечему удивляться и не на что негодовать, ибо и Ницше также чувствовалъ себя весьма стѣсненнымъ идеями добра и зла, которыхъ придерживаются обыкновенно буржуа и филистеры, имѣю-

пце единственной цѣлью и задачей сохраненіе вѣшнихъ приличій. Не трудно понять слѣдующее.

Точно такъ же, какъ рыцарь былъ символомъ феодальнаго міра, купецъ сталъ символомъ современнаго. Купецъ самъ по себѣ—лицо стертое; онъ только посредникъ между предлагающимъ и спрашивающимъ. Рыцарь былъ индивидуаленъ, благороденъ, имѣлъ опредѣленный характеръ; онъ не зависѣлъ ни отъ богатства, ни отъ положенія; главное въ немъ была его индивидуальность; въ bourgeois индивидуальность скрыта, она не обнаруживается вовсе: главное для него—вещи, товаръ, имущество.

Рыцарь былъ ужаснымъ негодяемъ, удалимъ разбойникомъ и монахомъ, пьяницей и канжею, но онъ во всемъ этомъ былъ искрененъ и честенъ; всегда былъ готовъ пожертвовать жизнью за то, что считалъ правымъ. Имѣлъ собственные нравственные правила, собственные законы, иногда очень произвольные, но которые онъ не могъ нарушить, не потерявъ уваженія къ самому себѣ, или уваженія къ себѣ окружающихъ. Купецъ—человѣкъ мирный, упорно и неустанно стоящій за свои права, но слабый въ нападеніи, расчетливый и скарденный, онъ во всемъ выискиваетъ случай для наживы; онъ вызываетъ каждаго встрѣчнаго, но борьбу ведетъ только хитростью. Предки его принуждены были лгать, раболѣпствовать, лицемерить, сдерживаться; влкаясь въ землю, безъ шанки, они говорили о своей бѣдности, зарывъ деньги въ землю. Все перешло въплоть и кровь ихъ потомковъ и сдѣлалось физиологическими признаками нѣкотораго типа людей, называемыхъ среднимъ сословіемъ.

Нравственность средняго сословія—явленіе слишкомъ извѣстное, что бы стоило о немъ разсуждать. Она касается исключительно отношеній лица къ нѣкоторому классу цивилизованнаго общества, къ которому лицо это принадлежит, или хотѣло бы принадлежать. Общество требуетъ отъ человѣка нѣкоторыхъ поступковъ и манеръ, даже нѣкоторыхъ убѣжденій—что цѣликомъ сводится лишь къ соблю-

денію устава о приличіяхъ, имѣющаго своей главной цѣлью раздѣленіе людей на два лагеря: богатыхъ и бѣдныхъ. Нитцше смотрѣлъ на нравственность гораздо глубже и, отвернувшись отъ законовъ, установленныхъ буржуазіей, отвергъ ея понятія о добрѣ и злѣ, обратился къ бѣдному нищему Заратустрѣ, и изъ контракта между этимъ „человѣкомъ“, ничего не имѣвшимъ“, и буржуа, возникла его личная книга: „Also sprach Zarathustra“. „Ничего буржуазнаго“. Таково общественное значеніе книги, все оно сводится къ положенію, что человекъ долженъ быть вѣренъ себѣ, ибо самое худшее рабство—его порабощеніе безконечной ложью обыденной жизни. Если кто нибудь думаетъ, что „сверхчеловѣкъ“ Нитцше отличается особой физической силой, или твердостью воли, или остротой ума—онъ ошибается. „Сверхчеловѣкъ“ къ намъ ближе, чѣмъ мы думаемъ. Этотъ тотъ, кто не знаетъ страха передъ жизнью, и поступаетъ всегда такъ, какъ велитъ его собственная природа. Онъ не лжетъ себѣ; онъ простъ и смѣлъ, простъ и смѣлъ вмѣстѣ, какъ дитя и какъ геній. Бродяга Горькаго имѣетъ сильное сходство съ героемъ Нитцше“.

„Я уже говорилъ, что Горькій создаетъ какъ бы поэму изъ бродяжнической жизни, поэму несомнѣнно романтическую и вдохновенную идеей полной и безусловной свободы человѣческой личности. Его бродяга не что иное, какъ олицетвореніе индивидуализма. Онъ врагъ всякихъ цѣпей, какъ желѣзныхъ, такъ и золотыхъ. Вдохновеніе Горькаго производитъ своего рода красоту, производитъ впечатлѣніе, похожее на благоговѣйный страхъ, какъ передъ какимъ нибудь разрушительнымъ явленіемъ природы. Во всякомъ случаѣ, въ немъ нѣтъ ничего будничнаго, ничего скучнаго; чувствуешь, что въ немъ скрывается какая-то сила,—какая, это уже другой вопросъ,—но сила несомнѣнная“.

„Великое отличіе произведеній Горькаго не въ томъ, что онъ пишетъ о классѣ людей, еще нѣкогда не затронутыхъ русской литературой,

и не въ томъ, что онъ явилъ намъ новый и неизвѣстный типъ, и не въ томъ, чтобы онъ бралъ своихъ героевъ съ натуры, и не въ томъ, что онъ соединилъ романтизмъ съ реализмомъ. Значеніе его заключается въ слѣдующемъ: онъ далъ намъ лирическія поэмы, въ которыхъ главный герой — духъ человѣческій, въ его безконечныхъ исканіяхъ правды собственнаго унизительнаго существованія. И если результатомъ такихъ исканій является образъ бродяги, долженъ ли это быть дѣйствительный бродяга, грязный и пьяный, или скорѣе тотъ другой бродяга, въ которомъ первые учителя христіанства олицетворяли все человѣчество, говоря: „Нищъ и нагъ пришелъ ты въ міръ нищъ и нагъ оставилъ его? По истинѣ всякій, даже современный человѣкъ, гордый своей жесткой и смертоносной цивилизаціей, долженъ признать, что онъ нищъ и нагъ, что онъ безпріютный скиталецъ, — если спросить себя о значеніи жизни и дѣятельности человѣчества, неужели мчашагося къ какой то неизвѣстной цѣли, — а можетъ быть и вовсе не двигающагося съ мѣста“.

„Мнѣ кажется, что въ своихъ бродягахъ Горькій достигъ самаго высшаго символизма, истиннаго символизма, вдохновенной и утонченной аллегоріи. Все равно, существуютъ ли его бродяги въ дѣйствительности или не существуютъ, важно лишь то, что въ нихъ мы можемъ прослѣдить блужданіе человѣческаго духа, его мятежный протестъ противъ искусственности человѣческаго существованія, его стремленіе, ослабленное невѣріемъ, къ такой жизни, гдѣ онъ могъ бы найти полное удовлетвореніе, его борьбу съ условностью обыденной жизни, борьбу, которую онъ ведетъ, несмотря на всѣ соблазны комфорта и благосостоянія“.

Отзывъ графа де-Суассона, быть можетъ, уже слишкомъ восторженный, но въ общемъ онъ посылъ Горькаго довольно правильно.

Конечно, многіе изъ комментаторовъ приписываютъ писателю и то, что ему никогда не приходило въ голову. А та сила, которую не называетъ де-Суассонъ, есть сила — истиннаго свѣжаго таланта, не стѣсненнаго никакимъ

шаблономъ, никакими литературными условностями. Она — эта сила и — произвела такое могучее оживляющее дѣйствіе въ русской литературѣ, захирѣвшей въ вѣчномъ нытьѣ и плачѣ объ униженныхъ и оскорбленныхъ. У насъ въ послѣднее время, на всякое жизнерадостное, не скучное и не тоскливое произведеніе стали даже смотрѣть подозрительно, и осуждать, какъ произведеніе писателя „не нашего лагеря“.

Громадна заслуга Горькаго, что онъ встряхнулъ русскую тоскующую мысль, и среди унынія, жалобъ на „общія условія“, на невозможность работать и что-либо дѣлать согласно идеаламъ, выдвинулъ на первый планъ духовную силу личности.

Сдѣлалъ онъ это по своему, взялъ знакомую ему среду „босяковъ“, взялъ ее, быть можетъ, намѣренно, чтобы сказать русскому обществу: — Тѣмъ стыднѣе для васъ, если сильныхъ и свободныхъ духомъ людей мнѣ пришлось наблюдать среди люда „бывшихъ“, а не числящихся „настоящими“.

Многихъ испугала слишкомъ смѣлая форма. Босикъ, оборванецъ, презрѣнный человѣкъ и вдругъ чуть не „рыцарь духа“.

Конечно это страшно смѣло, но критиковать Горькаго съ точки зрѣнія восхваленія пьянства, разврата и грязи босяцкаго міра могутъ только либо невѣжды, либо люди боящіеся и не умѣющие думать.

Называть Горькаго апостоломъ „грязи, крови и гноя“, могутъ лишь тѣ, кто думаетъ, что напр., Нитцше, проповѣдовалъ наступательное озвѣреніе, проповѣдовать свободу преступленія и разнузданность инстинктовъ, хотя можетъ быть ни одинъ философъ не поднимался до такихъ головокружительныхъ высотъ духовнаго совершенства и величія, чуждаго по самому существу своему человѣческой грязи и человѣческаго зла.

Проще конечно написать нравственные правила на прописи и никогда ихъ не исполнять, чѣмъ достигъ черезъ духовное совершенство неспособности дѣлать зло.

С. Яковлевъ.